

ТАМАРА

МИВЕНОВИЧ

БЕГСТВО

ИЗ

БОЛЬШЕВИСТСКОГО
РАБСТВА

Записки советской переводчицы.
Три года в берлинском полпред-
стве. 1928-1930

БОМБА ДЛЯ ПЕРЕБЕЖИЦЫ

Тамара Владимировна Солоневич

Записки советской переводчицы. Три года в Берлинском торгпредстве. 1928–1930

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=39470260

*Записки советской переводчицы. Три года в Берлинском торгпредстве.
1928—1930:
ISBN 978-5-227-07844-5*

Аннотация

Тамара Владимировна Солоневич работала в органах внешней торговли, и ее основным «орудием производства» было знание иностранных языков. Это давало ей надежду вырваться за границу более или менее легальным путем. В результате она смогла в 1928 году получить работу переводчицы и стенографистки в берлинском отделении советского торгпредства. В 1931 году Солоневич вернулась в СССР, позже ее откомандировали в Комиссию внешних сношений для сопровождения делегаций. Далее ее жизнь превратилась в триллер: фиктивный развод с мужем, замужество с иностранцем. Все это время она работала переводчицей с австралийской, американской, французской делегациями. 1932–

1933 годы прошли в хлопотах о получении визы на выезд из Советского Союза. Ей это удалось, она уехала опять в Берлин. Тем временем муж и сын предприняли неудачную попытку бегства за границу. Наконец в 1934 году семья воссоединилась в Берлине. Летом 1936 года Солоневичи переехали в Софию и начали издавать газету «Голос России».

Содержание

Записки советской переводчицы	5
Приезд в Москву	5
Первое знакомство с дворцом труда	10
Роковой петух	12
В ЧеКа	21
Тюрьма	24
Жанетта	30
Я становлюсь переводчицей	37
Пять видов «знатных иностранцев»	43
В гостинице «Балчуг»	51
На заводе АМО	56
Конец ознакомительного фрагмента.	60

**Тамара Владимировна
Солоневич
Записки советской
переводчицы. Три
года в Берлинском
торгпредстве. 1928—1930**

Записки советской переводчицы

Приезд в Москву

Стоял хмурый сентябрь 1926 года. Падали листья, и дождь капал слезами отчаяния. На душе же у меня было совсем пасмурно. Мы только что переехали наконец в Москву из южной солнечной Одессы. «Наконец» – потому что я всю жизнь мою, как чеховские сестры, стремилась в Москву. Помнила ее еще довоенной, хлебосольной, развеселой Москвой, когда девочкой приезжала на Святки погостить к своему дяде – известному адвокату. Он баловал свою ма-

ленькую племянницу, возил ее на елки и вечера на санях, в театры и по знакомым, и вот эти-то детские сияющие воспоминания мучили меня потом всю жизнь. Моей мечтой была Москва.

Прошла молодость. Пролетели в тяжелом кошмаре революционные годы... А мечта осталась, но приняла несколько иные формы. Прорваться в Москву, а оттуда за границу. Знала, что из провинции я не смогу никогда быть командированной за границу. Но из Москвы – чем черт не шутит! Попавши же с сынишкой за границу, постараюсь там остаться, а Ватик к нам уж доберется. Ведь жить в Советской России – это гнить заживо, таить все в себе, никогда не говорить то, что думаешь, все душевные и телесные силы напрягать на добычу куска черного полусырого хлеба.

Да, нужно всеми силами стараться перебраться в Москву. Мечта юности оформилась в горячее желание. Но в 1926 году Москва была уже совсем другой, чем в мечтах. Советской, съездившейся, грязной, скупой и мрачной. Муж мой, получивший службу в Центральном комитете профсоюза сотворгслужащих, приехал из Одессы на два месяца раньше и много дней подряд посвятил поискам квартиры. Однако ни в самой Москве, ни в пригородах не то что квартиры, но и комнаты было не найти. Люди жили буквально в нечеловеческих условиях, ваннные комнаты и даже неработавшие лифты были превращены в жилые помещения. Поэтому Ватик был рад когда ему в конце концов удалось нанять мезонинчик на

станции Салтыковка в 20 верстах по Нижегородской дороге.

И вот с вокзала мы поехали прямо на дачу. В Одессе мы жили в самом центре, в двух шагах от Дерибасовской улицы, и, хотя там у нас тоже было только две комнаты, они были большими и светлыми, а главное — они были в городе. В Салтыковке же не было ни мостовых, ни тротуаров, ни освещения, и темной осенней ночью на улице приходилось зачастую трепетно стоять на одной ноге, потому что калоша с другой ноги застревала в непролазной грязи и потому что страшно было ступить дальше в одной туфле. Мезонинчик наш состоял из коридорчика, в котором два человека с трудом могли бы разойтись, и двух крохотных клетушек с бревенчатыми стенами, из которых вылезал войлок прослоек. Лавок в Салтыковке почти не было. Только один кооператив, в котором, кроме водки и морковного кофе, ничего нельзя было найти. Ясно, что я предчувствовала, какие тяжести мне придется таскать из города. А от станции до нашей дачи ходьбы было 20 минут.

Я, каюсь, человек, легко поддающийся настроению и импульсивный. Поэтому на следующее по приезде утро, лежа на импровизированной косоногой постели и смотря в маленькое оконце на гнущуюся от ветра оголенную березу, я впала в острое отчаяние, пустилась в слезы, стала упрекать себя и ни в чем не повинного мужа в том, что мы уехали из милой Одессы, а когда мой взгляд нечаянно остановился на крюке от лампы, мне всерьез захотелось повеситься.

Ваня и маленький мой сынишка Юрчик беспомощно вокруг меня суетились, уговаривали меня, как умели, Ваня даже несмело предлагал вернуться обратно в Одессу, но... жребий был брошен, в Одессе все корабли были уже сожжены, брошена служба, пересдана квартира. А в советских условиях пересдать квартиру – значит сделать нечто бесповоротное, ибо другой квартиры уже никак не найти. Все равно – Одесса это, Харьков или Москва. Рассудок восторжествовал, и я взяла себя в руки.

Все на свете относительно. Если бы мы приехали в ту же Салтыковку в июне-июле, она произвела бы на нас совсем другое впечатление. Летом это был рай земной, кругом леса, пруды и речушки, и чудесный воздух, и отсутствие пыли. Нам суждено было прожить в нашей «голубятне» до самого побега нашей семьи за границу, и я так к ней привыкла, что, когда уезжала в последний раз, я упала возле кровати и целовала пол, чувствуя, что я больше никогда уже сюда не вернусь. На фоне затормошенной, суматошной, шумной и грязной Москвы – Салтыковка была тихой пристанью, голубым озерком, уютом среди враждебной и угрожающей советской действительности. Тут была еще какая-то видимость дореволюционной жизни – не было домкома, а была хозяйка. Правда, ни дом, ни участок ей больше *de jure* не принадлежали, и, если она хотела срубить у себя в саду дерево, она должна была испрашивать специальное разрешение сельского совета, но все же нас никто не мог уплотнить, а до ближайших

соседей было не два метра, отгороженные тонкой перегородкой, а несколько сот шагов, заросших плодовыми деревьями и бурьяном. Летом мы купались, устраивали со знакомыми экскурсии на речку Пехорку, ловили рыбу, искали грибы – конечно, в выходные дни. Воскресенье ведь было отменено.

Первое знакомство с дворцом труда

Куда пойти искать работу? Знакомых в Москве у меня было еще очень мало, но муж утешал тем, что при моем знании языков я смогу быстро устроиться. Мы пришли во Дворец труда, где находились все центральные комитеты профсоюзов, а следовательно, и место службы мужа.

Огромное здание, выходящее на четыре улицы, в том числе на набережную Москвы-реки и на Солянку. Бывший Николаевский сиротский институт и воспитательный дом. Прочно строили при императрице Екатерине. Четыре этажа – четыре длиннейших коридора в каждом, а всего – больше тысячи комнат. Естественно, что большевикам ничего больше не оставалось, как прикарманить такое сокровище себе. И какое раздолье для централизации. Двадцать три профессиональных союза (теперь их уже шестьдесят два), ВЦСПС – их страх и трепет, а в четвертом этаже, так сказать, на Олимпе – сам Профинтерн, ведающий насаждением революции в профсоюзах всех остальных стран мира. Цитадель рабочих движений и профсоюзной халтуры. Но тогда-то я о халтуре ничего не знала. В то сентябрьское утро 1926 года я была еще неоперившимся профсоюзным птенцом. За каждой закрытой монументальной дверью мне чудились неприступные «главки». Столица внушала мне все же какое-то уважение. Позже я многому, очень многому научилась, позже я

постигла всю сложную и замысловатую науку советской халтуры. В провинции халтура была не столь заметной и не процветала с таким сногсшибательным успехом, как в центре.

Судьба настигла меня в одном из коридоров Дворца труда в виде улыбающейся, накрашенной, щеголеватой особы женского пола, которая, сильно картавя, ухватила меня за рукав и немного театрально воскликнула:

– Тамара, неужели это вы?

– Жанетта? Вот сюрприз. Вы здесь какими судьбами? Тараторя, она увлекла меня в подвальный этаж-столовку.

Роковой петух

Жанетта... Полуобрусевшая француженка сомнительного рода занятий, но милая, беззаботная женщина. И, как это всегда бывает, в тот короткий промежуток времени, что мы спускались с ней по узким и темным лестницам подвального этажа Дворца труда, в моем мозгу с быстротой молнии пролетели воспоминания о нашем с ней знакомстве.

1920 год. Белые ушли за море... Одесса была занята красными. Ватик, который в момент отхода белых болел тифом и вынужден был остаться, связался наконец со мной, оставшейся в Киеве. С превеликими мытарствами, после шестидневного сидения на чемоданах и мешках, вместе с четырехлетним Юрочкой, в товарном вагоне, я притащилась (буквально притащилась) в Одессу. Поступила переводчицей на Одесскую радиостанцию, которая все еще после пережитых событий не могла начать работать и находилась в состоянии ремонта. Начальник радиостанции, полупарализованный интеллигентный человек, не большевик – он скоро затем умер, – соблазнился моими знаниями языков и решил меня взять «про запас».

– Пока станция начнет функционировать, вы будете давать уроки языков нашим служащим.

И я стала давать уроки. Служащих было всего четверо, между ними, на мое счастье, один бывший белый офицер М.

Почему «на счастье», будет ясно позже.

Муж же решил заняться рыбной ловлей. Правда, до тех пор он никогда в жизни всерьез этим делом не занимался, но делать было нечего, на службу куда бы то ни было он идти не хотел. Большевики в этот период рыскали, как гончие, по Одессе и окрестностям, вылавливая белых. Мы наняли дачку на двенадцатой станции (те, кто был в Одессе, знают, что так называется двенадцатая остановка трамвайной линии, соединяющей по берегу моря Одессу с курортной местностью Большой Фонтан). Ваня завел какие-то таинственные знакомства с местными рыбаками, привлек к нам на дачу в виде компаньона одного киевского знакомого с женой, и рыболовная артель была создана.

Я проводила на радиостанции два-три часа в день. Возвращаясь домой, мы с соседкой начинали «наживлять» на переметы рачков или червей, затем мужчины уезжали на лодке в море, закидывали перемет. Через несколько часов ехали снова и приезжали с добычей, которая, увы, оставляла желать лучшего: на долю каждого приходилось 11–12 бычков. Бычки эти моментально жарились и съедались. Мои три тысячи советских денег (в 1920 году все советские служащие, будь то курьер или профессор, получали по три тысячи, большевики проводили один из своих бесчисленных, теоретически неоспоримых, экспериментов) шли на остальные необходимые для питания ингредиенты.

На дачу к нам никто не заглядывал, и наше житье было

бы совсем мирным, если бы не петух садовницы Каролины, которому суждено было сыграть довольно трагическую роль в нашей сравнительно мирной жизни.

Известен ли кому-нибудь случай, когда из-за петуха пять человек сели бы в тюрьму? Я думаю, что такие случаи чрезвычайно редки.

Петух, правда, был не простой, а испанский. Эта национальная его принадлежность сказывалась в том, что он был гораздо больше обычного домашнего петуха, и, что самое главное, он всегда норовил подраться, взлететь противнику на голову и клюнуть его куда попало. Бывало, выхожу я к колодцу с ведрами. Слышу за собой топот. Оглядываюсь – петух тут как тут, взлетает, хлопает крыльями и хочет сесть мне на голову. По правде сказать, и я очень нервничала при таких встречах, что же говорить о Юрочке, который со страшным ревом прибегал домой, догоняемый разъяренным петухом. На наши просьбы продать или зарезать петуха старая литовка Каролина отвечала недовольным ворчанием, говоря, что петух заменяет ей сторожевую собаку. С Каролиной же приходилось считаться...

И вот настал роковой день. К Юре пришла его маленькая подружка Зоя. Я, как помню, жарила бычков на кухне, вдруг отчаянный плач. Бежит Юра, а за ним Зоя с залитой кровью головой. Свершилось. Я как раз так боялась, что петух проклюет голову Юрочке, жертвой оказалась Зоя, но от этого было не легче. Ваня стал в ярости гоняться по всему участку

за петухом, поймал его и засадил в клетку.

Позже мы узнали, что в тот вечер Каролина, сидя на заборе, окружавшем дачу, говорила сердобольным соседкам:

– Они моего петуха засадили в клетку, а я их засажу.

Через три дня я возвращалась с радиостанции вместе с Юрочкой. Я часто брала его с собой, так как до станции надо было только перейти через небольшое поле, а на станции Юру любили и баловали. Уже издали вижу, что у наших ворот стоит красноармеец. С замиранием сердца прохожу мимо, красноармеец молчит. Идем через садик, я смотрю на окно нашей комнаты, и – о, ужас – вижу такую картину: Ваня сидит на стуле, а около него два красноармейца с револьверами, наведенными на его лицо. Что случилось? Влетаю в комнату – с двух сторон еще два солдата.

– Гражданка Солоневич, вы арестованы.

– В чем дело? У вас есть ордер?

– Какой там ордер, вот закончится обыск, поедете на шестнадцатую станцию, там разберем.

– Но, позвольте, ведь это не по закону.

– Гражданка, замолчите и не разговаривайте.

Мне не дают выйти из комнаты, но я слышу гневные протесты моей соседки, которую арест застал врасплох, над корытом с бельем. Вся дача заполнена солдатами, они роются в шкафу, шарят под кроватями, расковыривают икону, ожидая, что в ней что-нибудь запрятано. Слышится торжествующий возглас:

– Ага, у вас и пишущая машинка есть?

– Но ведь она испорчена, – говорю я, – давно уже не работает.

– Ну, это мы еще увидим. Собирайтесь, пора ехать.

Руководит всем красный офицер – еврей, и я краем уха ловлю, что его фамилия Рабинович. Он вытаскивает из стола мой бювар, битком набитый всякими письмами, фотографиями, документами. Сердце мое останавливается. Боже мой, как же я этого не предусмотрела, что в случае ареста – его могут найти, этот мой старенький, еще девичий бювар! В мгновение ока соображаю, что там у меня хранится. Да, конечно, все Ванины письма, наши карточки, переписка, пока я была в Киеве, а он уже в Одессе, я – у красных, а он – у белых. Письма, доставленные тайно, разными путями... Что-то будет?

На мгновение, впрочем, внимание Рабиновича отвлечено: солдат концом штыка нащупал что-то твердое под шкафом и торжественно извлекает шкатулочку с моими золотыми вещами – брошки, кольца, два браслета и, чего мне особенно жаль, бабушкино гранатовое ожерелье. Рабинович ухватывается за шкатулку, он доволен. Он делает для вида коротенькую опись и прячет находку в свой портфель.

– Позвольте, почему вы хотите это забрать?

– Не беспокойтесь, гражданочка, если окажется, что вы ни в чем не замешаны, все вернем.

Не замешаны... Но бювар следует за шкатулкой. Что-то

будет!

Оглядываюсь на Ваню. Он бледен как полотно.

– Мамочка, я хочу кушать...

Бог мой, да ведь Юрчик действительно с утра ничего не ел! Бедная детка, он ничего не понимает в происходящем. Его все эти чужие дяди, наводнившие нашу дачу, даже интересуют.

– Позвольте покормить ребенка.

– Нет, теперь некогда кормлениями заниматься. Едем к командиру.

– Да, но как же мой сын?

– А разве его не на кого оставить?

Оставить? Да эта мысль мне даже в голову не пришла. Но на кого же? На Каролину? На петуха?

– Нет мы предпочитаем, чтобы он ехал с нами. Ведь мы ни в чем не виновны, и вы говорите, что скоро нас отпустите.

– Да, да. Ну, живее. Пора ехать!

Нас выводят на улицу, где уже стоит грузовик, и под лицемерно-сочувственным взглядом Каролины, старающейся показать свое крайнее недоумение и огорчение, нас увозят в направлении шестнадцатой станции.

Возле каждого из нас солдат с ружьем. Остальные остались сторожить дачу. С другой стороны около меня помещается Рабинович. Он старается завести со мной нечто вроде конфиденциального разговора и спрашивает:

– Вы давно знаете полковника Сташевского?

– Какого Сташевского? – удивляюсь я.

– Ну, я понимаю, вы не хотите сознаться, но ведь у вас была подпольная организация. Полковник Сташевский, подпоручик Самойлов и другие.

Бросаю взгляд на Ватика. Он бледен, но старается казаться совершенно спокойным. Он даже не разговаривает с солдатами. Его невинно арестовали, и он это особенно подчеркивает. Но что у него на душе!

– Что вы, – говорю я Рабиновичу, – какая подпольная организация? Мы – люди приезжие, у нас почти нет знакомых.

– Вам же хуже будет, если вы будете продолжать запираяться. Машинку почему не сдали? Знаете, что по декрету все пишущие машинки должны были быть сданы в трехдневный срок?

– Да ведь она совершенно испорченная, в ней шрифта нет.

– Мутик, а куда мы едем? В Одессу?

Звонкий голосок, невинные карие глазки, курчавая головенка, что они понимают?

– Да, деточка, в Одессу.

Грузовик вкатывает во двор огромной богатой виллы. Ворота за нами захлопываются, из виллы высыпают новые красноармейцы. Слышны возгласы:

– Подпольную организацию захватили.

Переговариваться друг с другом нам не позволяют. Беру испуганного таким количеством людей Юрочку на руки и го-

товлюсь к дальнейшему.

Нас ведут в дом, к командиру. Оказывается, что нас арестовал интернациональный батальон, командир которого латыш. Начинается довольно поверхностный допрос, во время которого мы все пытаемся доказать нашу полную невиновность. Ни в какой подпольной организации мы не замешаны.

Командир, видимо, сильно заморочен и не знает, что с нами делать. Я говорю:

– Товарищ командир, у меня забрали мои золотые вещи. Но ведь никакого ордера на реквизицию не было. Распорядитесь, пожалуйста, чтобы мне их вернули.

– Золотые вещи? Рабинович, где золото? Отдай все гражданке обратно.

Момент надежды. Но Рабинович уже склонился к уху командира и в чем-то его убеждает.

– Вот что, граждане, вам придется переночевать у нас, в монастыре, а завтра мы вас выпустим. Надо кое-какие детали выяснить. Вот и машинка у вас...

Ночь в монастыре на шестнадцатой станции. Конечно, из нас никто глаз не смыкает. Что-то будет завтра? Соседка моя горько плачет, ей совсем обидно. За собой она абсолютно никакой вины не знает. Она очень красива собой, танцевала в киевском «Шато де Флер», потом вышла замуж за Б-на, политикой никогда не занималась. Муж ее, тихий и спокойный латыш, если и не сочувствует новому режиму, то совер-

шенно пассивно. Нам дали по кружке чая и по куску хлеба. Юрочка утолил свой голод и теперь спит у меня на руках. Тревога все растет в моей душе, я все силюсь вспомнить, что у меня в бюваре. Мужчины помещены отдельно от нас.

Брезжит утро. Входят караульные.

– Живее поворачивайтесь, надо в Чеку отправляться!

В Чеку? Но ведь нам говорили, что нас отсюда же отпустят домой! В Чеку? В памяти встает страшная картина чекистского двора на Садовой улице в Киеве после ухода красных. Полузарытые в землю, голые, обезображенные трупы, руки, ноги, пробитые черепа и характерный сладковатый запах разложения...

Грузовик, конвой, длинный путь на Маразлиевскую.

В ЧеКа

Мы входим в небольшую переднюю, где вдоль стен сидят уже несколько человек. В каморке у входа, за стеклянной перегородкой, некто вроде портье. У него непрерывно телефонные звонки. Время от времени он высовывается и вызывает чью-нибудь фамилию. Скоро Ваню и Б-на куда-то уведут, не дав нам даже проститься. Наши взгляды – их не передать. На душе так скверно, так тяжело. Чувствуешь себя такой беспомощной. Мы с Юрчиком и с соседкой занимаем места на одной из скамеек. Около самой входной двери сидит маленькая бледная дама в трауре. Она, видимо, очень спешит и нервничает. Через каждые пять – десять минут она встает и подходит к окошечку.

– Мне очень некогда, меня больные ждут. Когда же вы меня отпустите? Ведь сказали на четверть часа, а вот уже два часа, как я здесь сижу.

– Не волнуйтесь, гражданка, вас вызовут.

Это докторша С-с, позже, уже в тюрьме, мы с ней познакомились и подружились. Милая женщина, где-то она теперь?

Проходят часы. Юрочка опять голоден, ему хочется движения, ему скучно и жарко сидеть в одной комнате.

– Мамочка, а где Ватик?

Наконец выкрикивают наши фамилии и ведут куда-то в подвальный этаж по длинным мрачным коридорам. Гремит

ключ в замке, и вот я впервые в жизни – в тюрьме, да еще в тюрьме Чека. Уж поистине – от тюрьмы и от сумы не отказывайся.

В то лето в Одессе шли непрерывные аресты и расстрелы. Живя на двенадцатой станции, мы мало общались с городом и как-то не представляли себе масштаба работы Чека. Но тут, на Маразлиевской, все делалось *en masse*. В нашей камере буквально некуда было ступить, весь пол был занят вповалку лежащими женщинами. Когда мне пришлось устраиваться на ночь, я должна была положить голову на чьи-то ноги, а Юрочкина голова покоилась на моей груди. Всю ночь горел свет, духота была ужасная, воздух тоже, в уборную надо было выходить в сопровождении конвойного. С ребенком было очень неудобно и тяжело, но вместе с тем я знала, что он со мной, что с ним ничего не может случиться, пока я жива. И это утешало.

В камере было непрерывное движение. Одних уводили, других приводили, не было ни одного спокойного часа. На третью ночь во дворе завели мотор, который трещал и гудел добрых два часа. Более старые обитательницы камеры побледнели, и с быстротой молнии все поняли, что там – во дворе, под нашими окнами, защищенными только щитами, идут расстрелы. Несмотря на шум мотора, слышались глухие выстрелы. С двумя заключенными сделалась истерика. Полупьяный надзиратель грубо приказывал замолчать. Я молила Бога, чтобы Юрчик не проснулся...

Прошло несколько дней. Два раза за это время отправляли целые партии в тюрьму. Мы же все ждали допроса и – так велика была наша наивность – освобождения. Но на допрос нас не вызвали, а на шестой день фамилии наши были вызваны надзирателем для отправки в тюрьму. Мрачно было у нас на душе. Перевод в тюрьму означал затяжку, означал, что против нас действительно имеется какое-то конкретное обвинение.

Как сейчас помню жаркое июньское утро. Нас выводят во двор, а затем и на улицу. Нас много, человек пятьсот. Мужчины идут в передних рядах. Я лихорадочно ищу взглядом Ваню. Наконец вижу его могучую фигуру, и мне становится легче. Все же пока мы вместе. По сторонам нас сопровождают цепью конные конвойные с ружьями наперевес.

Впереди и сзади тачанки с пулеметами. Свистки, крики. – Разойдись, стрелять будем!

Публика шарахается в стороны и исчезает в подворотнях. Сначала я беру Юрочку на руки, но скоро силы мне изменяют, я чувствую, что не смогу долго его нести. Опускаю его на землю, соседка и я берем его за обе ручонки и стараемся не отставать от остальных, однако темп довольно быстрый, нас то и дело обгоняют другие заключенные, наконец мы оказываемся в самом последнем ряду.

– Поторапливайсь!

Тюрьма

Долог путь через весь город. Долог и тягостен. Юрочка устал и еле ноги волочит, плачет, бедняжка. Снова и снова несущего его, пока сил хватает. Наконец возгласы:

– Тюрьма! Тюрьма!

Высокие кирпичные корпуса, построенные еще в старое время. В центре мужской, с церковным куполом посередине, затем большой двор. Затем женский корпус.

Мужчины скрываются в первом корпусе. До меня доносятся дорогой голос:

– До свиданья, Мутик!

Бедный Ваня, у него ведь нет Юрочки! Я все ж-таки не одна.

Мы попали в общую камеру № 4. Нас было 47 женщин: воровок, спекулянтток, бандиток, фальшивомонетчиц, убийц и, наконец, «контрреволюционерок», – вот вроде меня. Спали мы, как и в Чека, вповалку на соломенных вшивых тонких тюфяках, без одеял, без простыней и подушек. Хорошо, что было лето, зимой же мы, вероятно, погибли бы от холода.

На радиостанции узнали о нашем аресте, стали за меня хлопотать. Постепенно удалось дать знать кое-каким знакомым в Одессе, стали слать небольшие передачи, но в общем было очень голодно.

Камера была женская, надзирательницы были женщины, а Юрочка был единственным ребенком. Поэтому его все жалели и даже позволяли ему проводить большую часть дня на тюремном дворе. Делалось так: в двери была форточка, в которую передавались передачи и в которую надзирательница сообщала различные приказы и распоряжения. В эту же форточку я «выдавала» и «получала» Юрочку. Он так приспособился, что ложился мне на руки совершенно плашмя, чтобы не задеть ни головой, ни ногами за края форточки и так, как пирожок, я его высовывала, а надзирательница снаружи принимала. Из двора он приносил мне луковки – с чахлого тюремного огорода. При тогдашней скудной и пресной пище – кипятком, хлеб и ячменная каша – лук был большим лакомством.

Однажды Юра прибежал оживленный на «обед» – во время разноса обеда дверь открывалась целиком, и он вбегал, а не «всаживался» в камеру.

– Мутик, а я сегодня с часовым разговаривал.

– О чем же, детик?

– Он говорит: «За что сидит твоя мама?»

– Ну а ты что сказал?

– Я сказал – я сижу за петуха, а мама за подпольную онгаризацию!

В камере поднялся хохот.

– Дурашка, зачем же ты так сказал? Ведь это неправда, мы все сидим за петуха.

Вскоре один мой сослуживец с радиостанции – бывший белый офицер, принеся мне передачу, сообщил в записке, что на нашей даче ничего нет. Это в ответ на мою просьбу принести нам одеяла и подушки.

Оказалось, что Рабинович еще раз приехал с грузовиком и забрал решительно все, что можно было забрать, включая мокрое белье моей соседки.

Но если моя душа была спокойна насчет инкриминируемой нам «подпольной организации», муж мой тревожился гораздо больше. Я об этом узнала, уже выйдя на волю. Оказывается, что на следующий день после нашего ареста к нам на дачу должны были прийти С.Л. Войцеховский и В. С-ий с важными поручениями.

Подпольная организация действительно была, но, строго блюдя правила конспирации, муж мой даже мне о ней ни словом не обмолвился. Его душевное состояние в момент ареста и после него было близким к отчаянию. Он боялся, что эти два члена организации попадут на нашей даче в засаду (Рабинович, оказывается, три дня оставлял солдат на даче, с намерением поймать кого-нибудь из наших знакомых, чтобы создать «дело»). С.Л. Войцеховский и С-ий, по счастливой случайности, пришли только на четвертый день, когда засада была уже снята и, таким образом, от Каролины узнали, что мы арестованы. Были приняты все меры, и организация временно ушла в глубокое подполье.

Только на шестнадцатый день нас допросили. Мне инкриминировали, что я работала на радиостанции, получала там секретные сведения, переписывала их на машинке, а муж мой и Б-н отвозили их, под предлогом выезда на рыбную ловлю, в море и передавали белым.

Все это было настолько нелепым, что и протестовать было трудно. Машинка не функционировала, радиостанция бездействовала, наши горе-рыбаки же отъезжали от берега максимум на километр.

Следователь угрожал расстрелом, затем концлагерем, затем тем, что отнимет у меня Юрочку и отошлет его в детский дом.

В бьюаре были найдены письма Вани ко мне на бланках «Нового времени», открытка с изображением пяти франк-фуртских евреев, игриво заложивших большой палец в карман жилетки. Следователь обвинил меня в антисемитизме.

Я не признавалась, потому что мне решительно не в чем было сознаваться, но нервы мои расшатались до крайности, я много плакала, а постоянные вызовы из нашей и соседних камер ни в чем не повинных женщин на расстрел возмущали разум и развинчивали в психике какие-то винтики.

Чаша, однако, не была испита полностью.

Однажды мне передали с воли, что получено письмо от моей бабушки, сообщающей о смерти моей дорогой матери в харьковской тюрьме. Ее большевики арестовали за то, что она скрывала белых – она заболела в тюрьме тифом и умерла

от болезни и истощения.

Я помню, как я буквально билась головой о стену в моем огромном горе. Все свалилось на меня сразу. Это был один из самых страшных периодов моей жизни, если не считать тех месяцев, когда в 1933 г. муж и сын второй раз пытались бежать из СССР за границу и когда от них пять месяцев не было никаких вестей...

Единственной радостью, скрашивавшей наше пребывание в тюрьме, было посещение церкви. В 1920 году большевики еще не были так жестоки и так уверены в себе, как позже, и тюремные церкви еще не были превращены в клубы. Каждое воскресенье совершалось богослужение. Если человек нуждается в духовном утешении и на воле, то насколько эта потребность обостряется в тюрьме! Только в церкви заключенный как-то забывается.

Однако тюремное начальство учло то обстоятельство, что заключенные радовались посещению церкви, и пользовалось этим для поддержания дисциплины. Тот, кто в течение недели в чем-нибудь провинился, был лишен возможности пойти в церковь в воскресенье.

Как сейчас помню, как в первое же воскресенье я увидела с хор, где стояли заключенные женщины, моего мужа – мужчины стояли внизу. Мы содержались в различных корпусах и общаться не могли, так что увидеть его хоть издали было уже большой радостью. Когда стали подходить ко кресту, я попросила у надзирательницы разрешения Юрочке поздо-

роваться с папой. И вот мой карапузик пошел через всю церковь. Слезы застилали мне глаза, и я еле видела, как Ваня бережно поднял своего мальчика на руки, поцеловал его и так же бережно поставил на ножки.

Радостно вернулся Юра ко мне:

– Мутик, папочка сказал, что он нас любит.

Огромная нежность проникла в душу. Я почувствовала, что наша связь крепка и что не тюрьме нас разлучить.

На следующее воскресенье я придумала передать через Юрчика мужу записку с некоторыми вопросами. У надзирательницы оказалось удивительное чутье. Перед выходом из камеры она всех нас осмотрела и нашла у Юрочки в кармашке злосчастную записку. Хорошо еще, что вопросы были сформулированы в осторожной форме, понятной лишь нам обоим. А то могло бы бог знает что получиться. Как бы то ни было – произошла неприятность и мы были оставлены «без церкви». Было очень горько.

Жанетта

Была ночь, темная и жаркая июльская ночь. Камера спала тяжелым тюремным сном. От времени до времени слышались стоны, выкрики, бред... Я тихонько встала, подошла к окну, влезла на подоконник. Стекол в окнах не было. Были только толстые железные решетки. Вдали над Одессой виднелось зарево от уличных огней, я прильнула к решетке и дышала чистым воздухом «с воли». Ветерок доносил аромат степных трав. В камере было всегда душно, и въевшийся в каменные стены специфический запах доводил иногда до тошноты. Я была рада тишине и сравнительному одиночеству. Ведь целый день четыре десятка женщин болтали, ругались, плакали, жаловались, голова шла кругом.

Вдруг в коридоре раздались шаги и громкий разговор. Я спрыгнула с окна. Даже эта маленькая радость – посмотреть в окно – нам строго запрещалась. Часовым был отдан приказ стрелять без предупреждения, как только кто-нибудь из заключенных выглядывал в окно.

Шаги ближе и ближе. Остановились у нашей двери, и на освещенном ее фоне вырисовалась стройная женская фигурка.

– Ну, поворачивайтесь же, чего стоите.

Дверь захлопнулась, щелкнул замок. Фигурка сделала два шага. Дальше ступить было некуда, весь пол был занят спя-

щими телами. Кроме того, было ясно, что вошедшая со света не сразу могла привыкнуть ко тьме и ничего не могла различить. Она начала плакать, сначала тихо, затем все громче и громче. Я отодвинула наскоро свой тюфяк в сторону и позвала ее:

– Идите сюда, здесь есть немного места.

Плач перешел в рыдания. Пришлось мне пробраться к ней, взять ее за руку и провести в мой угол. Некоторые из заключенных проснулись, недовольные тем, что их разбудили. «Новенькая» все еще плакала, я постаралась ее успокоить.

В коротеньких фразах, которыми она мне ответила, была примесь какого-то иностранного акцента.

– Вы не русская?

– Нет, я – француженка.

Французский язык был моей специальностью, до замужества я была преподавательницей французского языка в гимназии, бывала в Париже и очень любила французский говор. Мы разговорились. Боже, как эта девушка обрадовалась. В тюрьме, в советской тюрьме, такая мелочь может очень облегчить жизнь.

Жанетта... История ее так и осталась в некоторых деталях для меня загадочной. Одесская француженка из приличной семьи. Вращалась в состоятельных русских кругах. Как-то в театре, в добровольческое время, познакомилась с молодым человеком, завязался сначала флирт, затем у нее перешел в более глубокое чувство. Он обещал жениться. Ходил в во-

енной форме. После ухода белых некоторое время не появлялся, затем снова пришел, видел ее урывками, говорил намеками, что участвует в какой-то подпольной организации. Обещал бежать с ней через румынскую границу. Однажды пришел к ней и сказал;

– Надо спрятать этот пакет. И хорошо спрятать.

Спрятала.

В другой раз пришел и просил спрятать у ее знакомых двух его товарищей. За ними охотится ЧК.

Спрятала.

В ту же ночь эти знакомые были арестованы. Жанетта тоже. Как была – в розовом шелковом пеньюаре, ничего не успела на себя набросить. Так в пеньюаре и в тюрьму попала. Сперва ее продержали полтора месяца в Чека. Допрашивали преимущественно по ночам. Требовали, чтобы она сказала фамилии тех, кто у нее бывал. Для кого собирала деньги. А деньги она, по просьбе своего возлюбленного, действительно собирала, для него и его друзей – белых, как он ей говорил. Но не могла же она выдать своего любимого.

Наконец, в одну из ночей, на последнем допросе ей сказали:

– Сознайтесь, что вы прятали Михайлова и такого-то (фамилию я забыла).

Михайлов был ее жених.

Она все отрицала.

– Сознайтесь, а то расстреляем. Вы знаете Михайлова?

– Нет, не знаю.

– Ах так? Товарищ Сергей, иди сюда.

Из-за темной портьеры в глубине комнаты вышел... ее возлюбленный. Стал за столом, рядом со следователем, положил руки в карманы, посмотрел на нее холодным отсутствующим взглядом:

– Так ты, Жанетта, меня не знаешь? И такого-то не знаешь?

Она потеряла сознание. Очнулась в подвале Чека. Больше ее ни о чем не спрашивали. Перевели внезапно в тюрьму. Теперь она не знает, что с ней будет, расстреляют ее или нет, – как я думаю?

И снова рыдания.

Красивая девушка. Почти грезовская головка, мягкие движения, стройная фигурка.

Мы подружились. Юрочка очень ее полюбил. Она все пела ему детскую песенку:

Les petits bateaux qui sont sur l'eau
Sont les enfants des grands bateaux,
Et les grands bateaux
Sont les papas des petits bateaux.

Когда, в конце августа, за недостатком улики, а главное – благодаря заступничеству радиостанции, нас выпустили на волю, я обещала Жанетте пойти к одной старой швейцарке, которая могла ей помочь вырваться из застенка, так как име-

ла связи в Москве у самой Круппской.

Да, этот день. Этот мучительный и счастливый день. Обычно с утра вызывали тех, кто выходит на свободу. После обеда приезжал грузовик из ЧК и увозил на особые допросы и на... расстрел. И вот нас вызвали именно после обеда. Не стоит передавать того, что мы все пережили, пока собирали вещи, пока шли по длинным тюремным коридорам, пока нас не ввели в большую комнату, битком набитую другими заключенными. Тут уже оказались мой муж и Б-н. Ваня похудел до неузнаваемости, оказалось, что у него уже было четыре приступа возвратного тифа – и это при тюремном-то питании. Остались кожа да кости. Юрочка, помню, через несколько дней, дома, гладил Ванины ноги – это был пятый приступ – и говорил:

– Похудели ножки, похудели.

Но сейчас, в ожидании неизвестного будущего, нам было не до того. Пришли красноармейцы, обыскали нас самым тщательным образом, потом вывели на тюремный двор, открыли перед нами ворота:

– Вы свободны.

И вот мы все идем – худые, голодные, оборванные. За три месяца мы не меняли платья. Ваня был арестован в рубахе и рыбацких брюках. Трудно поверить, как может выглядеть рубаха, если ее носить и в ней спать, не снимая три месяца.

ца подряд. Только на плечах и на обшлагах она еще кое-как держалась, остальное были дыры и лохмотья. На мне были остатки серого костюма, которые выглядели совсем неприлично.

Пришли наконец на нашу дачу. Вошли во двор. Выбежала Каролина, заискивающая и виноватая:

– А петуха я уже зарезала.

Вошли в комнаты и остановились в ужасе. Они были совершенно пусты. Не осталось ничего, кроме железных кроватей, даже матрасы исчезли. Как быть, что делать? Надо немедленно пробраться в Одессу и дать знать нашим знакомым. Но они и сами ничего не имеют, все бежали от большевиков, докатились до Одессы и тут застряли. К кому же пойти? И вот я вспоминаю, что в городе живет старая подруга моей покойной матери – А.Т. Маврокордато.

Дождавшись вечера, чтобы не очень срамиться перед людьми, я отправилась пешком в Одессу – трамваи тогда не ходили. Пришла к Александре Тимофеевне. В принадлежавшем ей раньше огромном доме большевики оставили ей только одну комнату. Оказалось, что у нее уже был ряд обысков, что все вещи ее подверглись реквизиции, а находившиеся в сейфе драгоценности и бриллианты тоже были «изъятые». Милая Александра Тимофеевна охала и ахала, слушая мою плачевную историю и особенно узнав, что мать моя умерла. Потом она стала рыться в своем шкафу и вынула си-реневую шелковую ночную рубашку, парижского происхож-

дения, с оборочками и кружевами.

– Вот возьмите, может быть, ее можно носить как платье. Добрая душа. В этой рубашке, подпоясанной кушаком, так что создалась видимость летнего платья, я проходила две недели, а потом в ней же поехала в Ахтырку Харьковской губернии, к бабушке, где осталось имущество моей матери.

Александр Тимофеевне удалось вырваться от большевиков в Румынию. Если она прочтет эти строки, пусть знает, что я никогда не забуду ее доброты.

Обещание, данное Жанетте, я выполнила на следующий же день. Больше я о ней ничего не слышала и почти забыла ее, когда шесть лет спустя она остановила меня в одном из коридоров Дворца труда.

Я становлюсь переводчицей

Итак, мы с Жанеттой закусываем в столовке Дворца труда. Хотя 1926 год был началом ликвидации нэпа, продовольствия было еще более или менее достаточно. Не было сытости, но еще не было и голода. Когда через три-четыре года я, будучи на службе в Берлинском торгпредстве, приезжала домой в отпуск, было уже так голодно, что в той же столовке Дворца труда можно было найти только бутерброды с конской колбасой, и то по одному на человека, по специальным карточкам, выдававшимся раз в месяц каждому штатному сотруднику. Приходившим же по делу посетителям ничего в этой столовке не отпускали.

Весело тараторя, Жанетта рассказала мне, что ее скоро из тюрьмы выпустили, что она очень удачно вышла замуж за видного коммуниста, переехала в Москву и теперь работает переводчицей во французской секции Профинтерна. Оказалось, что переводы в Профинтерне поручаются только лицам той национальности, на язык которой делается перевод. Так, жена Литвинова, бывшего тогда еще заместителем наркома по иностранным делам, будучи англичанкой, тоже занималась переводами в Профинтерне. На китайский переводят только настоящие китайцы, на японский – японцы и т. п.

Я смотрела на Жанетту. Она немного изменилась с того времени, как мы сидели с ней в тюрьме. Только, пожалуй,

несколько жестче стало выражение губ. Алых, ярко окрашенных губ. Однако sex appeal'a стало в ней еще больше. И не трудно было заметить, что политикой она при ее легкомыслии интересовалась мало, работу делала больше автоматически и то потому, что большевики косо смотрели на тех коммунистов, у кого жены не работали.

– Что вы на меня смотрите? Изменилась? Ну, не беда, я рада, что вас встретила, ведь вы мне тогда очень помогли. А теперь вы где работаете?

Я объяснила, что только что приехала из Одессы и ищу работу.

– Это мы живо устроим. Такие люди, как вы, с четырьмя языками, в Москве очень нужны. Знаете что – зайдите так через полчаса в комнату 438 в четвертом этаже, к товарищу Гецовой. А я с ней поговорю. Только, вы сами понимаете, никому здесь не говорите, что мы с вами были в тюрьме. О том времени никто и не вспоминает. Вряд ли и в Одессе остались какие-нибудь следы. Ведь тогда арестовывали десятки тысяч.

И побежала вверх по лестнице.

Через полчаса, достаточно нагулявшись по дворцовым коридорам, с бьющимся сердцем я подошла к двери комнаты № 438. На ней была дощечка:

КОМИССИЯ ВНЕШНИХ СНОШЕНИЙ ВЦСПС.

Я открыла дверь. Коридорчик и в нем несколько дверей. На первой надпись – «Секретарь Комиссии внешних сноше-

ний – Гецова». Вхожу. Паркет блестит, как зеркало, два массивных письменных стола, у стен новешенькие лакированные стулья. За столом красивая женщина. Гладкая прическа с пробором посередине, большие серые глаза, приятное, типично русское лицо. Только кокошника не хватает.

Около нее два телефона на столе и третий на стене. Прямой провод с Кремлем, как я потом узнала. Она непрерывно говорит то по одному, то по другому, то по третьему.

– Алло, дайте Кремль. Это Кремль? Говорит Гецова. Мне надо на завтра три пропуска в Грановитую палату. Два американца и переводчица. Будут? В порядке.

– Алло, алло, товарищ Петров, не забудьте, что в гостинице нет апельсинов. Англичане уже второй день без апельсинов, ведь это безобразие. Что? Будут? Да ведь вы и вчера обещали. Ну смотрите.

Наконец Гецова обращает внимание и на меня:

– Что вам, товарищ?

– Моя фамилия Солоневич, меня к вам просила зайти Л-ль.

– Ах да, вот отлично. Вы английским владеете?

– Да, французским, немецким, английским и немного испанским.

– Ну, остальные языки мне сейчас не нужны. А вот английским. Можете ли вы завтра же выехать с английской делегацией в поездку? Мы вам дадим десять рублей в сутки на всем готовом. Согласны?

– Товарищ Гецова, все это так внезапно, я бы хотела поговорить с мужем.

– Ну о чем же говорить? Соглашайтесь. Кто здесь вас во Дворце труда, кроме Л-ль, знает?

– Здесь никто, но у меня хорошие удостоверения из Одессы.

– Покажите.

Я вынула удостоверения с последнего места службы в Одесской конторе Внешторга и от АРА – American Relief Organization. Там были перечислены языки, которыми я владею, и были даны лестные отзывы о моей работе.

– Нет, этого мало, необходимо поручительство члена партии. Без этого я не смогу принять вас на работу. Где работает ваш муж? Здесь же, во Дворце труда? Вот пусть из его союза кто-нибудь и поручится.

Я поспешила вниз к мужу. Рассказала, в чем дело. Нам обоим, конечно, было неприятно расставаться, тем более что до этого мы несколько месяцев провели врозь, он в Москве, а я в Одессе. Но предложение казалось мне настолько соблазнительным, мне так хотелось войти в контакт с настоящими, живыми англичанами, и казалось, что двери за границу как будто приоткрываются. Мечты бурным вихрем завертелись в моей голове. Обсудив все, мы решили, что поехать все-таки следует. Как почти у каждого беспартийного советского гражданина, у мужа был свой «ручной» коммунист, и он отправился к нему за рекомендацией. Минут через сорок то-

варищ М-в из культотдела позвонил Гецовой и поручился за меня.

Разве я знала тогда, чего потребует моя работа?

– Ну вот и замечано! – Товарищ Гецова любила простонародные выражения. Сама она происходила из очень хорошей семьи и тем больше хотела показать, что идет в ногу с пролетариатом. – Теперь скажите, вы когда-нибудь переводили с трибуны на митинге?

– Нет, никогда.

– Тогда, знаете что, отправляйтесь сейчас же в гостиницу «Балчуг» – это тут же, следующий квартал за мостом. Там остановилась английская делегация. Сейчас у них обед, а после обеда они едут на завод АМО. Вот вы там и попробуете переводить. А я позвоню сейчас Игельстром, чтобы она вас немного подготовила к вашим обязанностям.

– Как, уже сейчас, так сразу, и на митинг?

Но Гецова уже звонила в гостиницу «Балчуг»:

– Соня, ты? Сейчас к тебе придет новая переводчица. Да, да, вместо Зины. Пусть она тебе поможет переводить на АМО.

Всякий москвич наверное знает гостиницу «Балчуг». В прежнее время в ней останавливались преимущественно купцы и деловые люди средней руки, которым было важно жить поближе к центру московской торговой жизни – Ки-

тай-городу. Гостиница не была шикарной, но каким-то чудом именно она одна во времена нэпа осталась более или менее годной для приема иностранцев после того, как даже «Метрополь» был отдан на растерзание кучке чекистов с Петерсом во главе. В «Метрополе» еще до самого недавнего времени все номера были заняты под жилища «ответственных работников». Теперь «Европа», «Савой» и Гранд-отель, бывшая «Большая Московская» отремонтированы, модернизированы и предоставлены для приема иностранцев. В 1931 году «Балчуг» тоже подвергся капитальному ремонту, переименовался и отведен почти исключительно под гостей Интуриста.

Пять видов «знатных иностранцев»

Прежде чем начать эту главу, мне хочется еще раз подчеркнуть, что, когда я поступала на работу переводчицы при иностранных рабочих делегациях, я была совершенно неопытна и не имела никакого представления о том, из чего они состоят, какие тайные пружины приводятся при этом в действие, кто вообще едет в СССР, как советская власть к этим делегациям относится и какие организации в Советском Союзе ведают приемом иностранцев. В те годы я была средней советской служащей, работающей из-за куска хлеба, пришибленной и унижаемой на каждом шагу всем советским строем. По своей неопытности, я радовалась предстоящей работе, как некоей отдушине в повседневной тяжелой жизни, я мечтала, что, познакомившись с людьми «оттуда», мы легче найдем способ вырваться из удушающей дух и старящей тело советской действительности. Никаких особых познаний в профсоюзной жизни Запада я не имела, но в СССР сапожник ничуть не удивляется, если его назначают судьей... Специальность? О ней почти не спрашивают. В берлинском торгпредстве некий Минкин был сперва начальником отдела кадров, затем – без всякой пересадки – заведующим лесным отделом, а теперь он восседает в кабинете на Унтерден-Линден в качестве директора Интуриста.

В процессе моей работы я уяснила себе следующее.

Советская власть драконовскими путями охраняет границы захваченной ею территории. Она всячески скрывает от всего остального мира истинное положение вещей в СССР, вводит в заблуждение все народы и наводняет все остальные страны лживыми сведениями о благоденствии Страны Советов. Всякий знает, как трудно получить визу в СССР, а о том, как трудно оттуда выехать, я еще расскажу в свое время. Но для того, чтобы эффективнее вести свою пропаганду, большевики нуждаются, кроме печатного, еще и в живом слове. Необходимо, чтобы кто-то живой подтвердил, что он был в СССР, что он видел «достижения». Для этой цели создан целый ряд организаций, со своими бюджетами (а с затратами большевики в данном случае не стесняются), со своим штатом служащих и с далеко идущими разветвлениями за границей.

Коротко говоря, есть пять сортов иностранцев, которые допускаются или приглашаются в СССР.

1. Писатели, ученые, профессора, политики, крупные журналисты и пр. Приезжают по особому приглашению – вот вроде Бернарда Шоу, Уэльса, Страчи, супругов Уэбб, Андре Жида, Ромэна Ролана. Ими ведает и их опекает Общество культурной связи с заграницей, – сокращенно именуемое «Вокс». Общество это поддерживает культурные связи со многими учеными и писателями, имеет своих переводчиков, преимущественно из очень хороших семейств, так как им надо уметь говорить об искусстве, о науке и пр. Филиала-

ми Вокс'а за границей являются всякие невинного вида общества культурной связи с Советским Союзом. Вокс обслуживает и таких знатных гостей, как Эррио, Иден, Лаваль и пр.

2. Рабочие делегации и их вожди. Они приезжают в Москву обычно два раза в год, на Первомайские и Октябрьские торжества, или в экстренных случаях, как моя первая делегация английских горняков, приехавшая благодарить советских шахтеров за поддержку забастовки 1926 года. Вожди приезжают и отдельно, как, например, в 1927 году секретарь Великобритании Федерации горняков Кук, до этого – английские профсоюзные вожди, теперь недавно – сэр Ситрин, генеральный секретарь лейбористской партии и пр. Эти делегации состоят в ведении отчасти Профинтерна, отчасти ВЦСПС, который создал для этой цели специальную комиссию внешних сношений, отчасти, наконец, Коминтерна, который создал для этой и для других целей так называемое Общество друзей Советского Союза почти во всех крупных странах мира. Это общество работает, в противовес «обществам культурной связи с СССР», исключительно среди рабочих и служащих. В каждой стране есть бюро общества, секретарь которого обычно коммунист. Раз в год или в два года все эти секретари съезжаются в Москву, где они делают доклады с мест и где ответственная работница Коминтерна Гопнер дает им наставления относительно их последующей работы. Во главе Общества друзей СССР до самого послед-

него времени стоял английский коммунист Альберт Инкпин, с которым мне приходилось постоянно сталкиваться во время приезда делегаций в Москву. Первоначально секретариат Инкпина помещался в Берлине, на Доротеенштрассе, а после прихода к власти Гитлера «друзья» были высланы из Германии и обосновались в Амстердаме. Инкпин постоянно получал большие суммы от комиссии внешних сношений и от Коминтерна, но при щекотливых моментах самой передачи денег мне не приходилось присутствовать и я знала об этом только со слов моей сослуживицы, пользовавшейся неограниченным доверием Инкпина, – Л.А. Израилевич.

За несколько недель, а иногда и месяцев до очередных торжеств на английских, французских и других заводах и фабриках проводятся митинги, на которых выступает оратор общества (рабочие, конечно, об этом не знают) и, расхваливая достижения советской власти, призывает рабочих выделить из своей среды желающих поехать в СССР. Происходят выборы; собираются небольшие суммы, необходимые для оплаты проезда до советской границы.

С момента перехода границы делегаты становятся гостями советской власти, им оплачиваются переезды по всему Союзу, их кормят на убой, поят коньяками и ликерами, водят в театры, иногда под благовидными предлогами им подносятся даже подарки. Им показывают то, что советская власть считает нужным показать, но после возвращения в свою страну они обязываются прочесть ряд докладов в ра-

бочих собраниях и рассказать «правду о Советском Союзе». Их адреса и характеристики навсегда остаются в архивах Коминтерна и Комиссии внешних сношений, и по мере необходимости их так или иначе можно использовать.

Здесь нет постоянного штата переводчиков, обычно переводчицы так называемых «международных комитетов» при профессиональных союзах автоматически мобилизуются во время первомайских и октябрьских торжеств. В такие-то переводчицы попала и я.

3. Интуристы. Это наиболее известная разновидность иностранцев, попадающих в СССР. Во всех столицах мира имеются витрины с картой Советского Союза, с проспектами Крыма и Кавказа, Ленинграда и Москвы, с многообещающими зазывающими надписями:

– Visitez l'Union Soviétique!

– Visit Leningrad!

В огромных бюро сидят гладко выбритые, с иголки оде-тые люди, которые с утонченной любезностью дадут вам все указания относительно увеселительной поездки по Советскому Союзу. Вы внесете сравнительно небольшую сумму и можете посетить загадочную страну, о которой газеты говорят так много и так противоречиво. Интурист довезет вас до Москвы или Ленинграда, даст вам возможность увидеть некоторые дома отдыха, театры, дворцы и музеи, переправит вас в ту или иную часть Советского Союза. Вы вечно будете находиться во власти Интуриста, вам дадут переводчицу,

тренированную на специальных курсах, которая будет давать вам заученные ответы. Вы ничем не обязаны СССР, за свои деньги вы получите некоторую щекотку нервов.

– Ах, вы знаете, так интересно было посмотреть на здание ГПУ!

Или:

– Ах, вы знаете, мы посетили большевистскую коммуны, заключенные почти все троекратные убийцы.

4. Самой немногочисленной категорией и, пожалуй, наиболее свободной являются иностранные коммерсанты и представители фирм, которые с 1932 г. все чаще и чаще приезжают в Москву, желая получить заказы или совершить какие-нибудь сделки. Первоначально их помещают в «Савое», и о них, конечно, ГПУ тоже осведомлено, как и о всех, получающих визу на въезд. Но затем они совершенно свободны. У меня был случай, когда в 1932 г. мой знакомый по Берлину г-н Т-н, представитель транспортной фирмы, имевшей договор с советским правительством, приехал в Москву. Мы заранее списались, он привез мне пишущую машинку portable. Остановился в «Савой», но там с него брали 8 долларов в день только за комнату. Иностранцы должны платить всегда в валюте. Я предложила ему переехать к нам, в Салтыковку. Он с радостью согласился и... увидел обратную сторону. Он увидел переполненные пригородные поезда, освещавшиеся одной свечкой на весь вагон, увидел, как питается средняя советская семья, в которой и жена, и муж работают по 10–12

часов, а потом мы ходили с ним по Москве, и я завела его на Сухаревку. Там он совсем обалдел от зрелища великой нищеты и голода, которое представилось его глазам.

Через несколько дней, уезжая, он облегченно вздыхал и с состраданием говорил, что следовало бы и нам переехать в Германию. Москва осталась в его воспоминаниях как нечто страшное. Так как при отъезде из «Савоя» его спросили, куда он переезжает, ему пришлось дать мой адрес, и долго еще после его отъезда мы ждали, что ГПУ нами поинтересуется. Однако, ничего, обошлось. Вообще я должна сказать, что ГПУ далеко не так всеведуще, как о том принято думать.

Но таких иностранцев приезжают в СССР единицы, все они так или иначе заинтересованы в сохранении с советской властью добрых отношений и поэтому, вернувшись на родину, стараются отмалчиваться от вопросов посторонних лиц, посвящая в свои настоящие впечатления только самых близких и родных.

5. И, наконец, пятая категория иностранцев – это коммунисты всех стран. В большинстве это, конечно, секретари, казначеи, ответственные лица. Я имела удовольствие наблюдать за некоторыми из них, так как октябрьская делегация 1932 г. жила в гостинице «Европа», где одновременно помещались (они буквально жили месяцами в Москве) Вайян-Кутюрье, Эгон Эрвин Киш и теперь уже покойный Фриц Геккерт. Эта категория иностранцев пользуется в СССР полной свободой (конечно, в пределах, диктуемых коммуниз-

мом). В зависимости от их силы, воли и характера, а также внушаемого ими уважения их размещают либо в первоклассной, либо в третьеклассной гостинице. Они живут на всем готовом, получают необходимые им суммы, имеют в своем распоряжении автомобили Коминтерна или Профинтерна, словом, катаются, как сыр в масле.

В большинстве своем это уже старые приятели Москвы, и почти все они осилили русский язык в степени, достаточной для того, чтобы в обыденной жизни обходиться без переводчика. Они продают каждый свою страну – международной банде, заседающей в Кремле и в Коминтерне, очень мало интересуются действительным положением вещей в Советском Союзе и отмахиваются, как от докучливой мухи, от всех сведений, могущих так или иначе нарушить их душевный покой.

В гостинице «Балчуг»

Выйдя от Гецовой, иду прямо в «Балчуг». В вестибюле меня останавливает портье.

– Вам куда, гражданка?

– Я из Комиссии внешних сношений. Меня послала Гецова.

– Сейчас справимся.

Короткий телефонный разговор, меня пропускают.

– Делегация во втором этаже, в приемной.

Поднимаюсь по лестнице, спрашиваю у первого попавшегося, где приемная; вхожу. Комната полна народу, везде английский говор. Меня сначала никто не замечает. Потом от одной из групп отделяется стройная, сухощавая фигура.

– Вы – товарищ Солоневич?

– Да, а вы, наверное, Игельстром?

– Угадали. Ну, вот хорошо, что вы пришли. Давайте я вас сейчас с делегатами познакомлю.

Игельстром представляет меня всем по очереди, как новую переводчицу. Сперва я никого не различаю, я смущена, так много рукопожатий сразу. Потом Игельстром меня оставляет с двумя делегатами – мужчиной и женщиной – и исчезает.

Завязывается разговор. Оба производят на меня сразу же очень приятное впечатление, такие простые и веселые. Мис-

сис Нелли Честер и мистер Джонс¹. Она – жена шахтера, он – сам шахтер. Старый заслуженный профсоюзный работник. Позже, недели две спустя, мы философствовали с ним как-то в купе поезда, и он заявил мне:

– Знаете что, все англичане – ханжи.

Теперь я стараюсь прежде всего лучше ориентироваться в столь новой для меня обстановке и узнать, о чем может идти речь на митинге, где мне предстоит переводить. Я с горестью констатирую, что между литературным английским языком, которому меня обучали и на котором написаны многочисленные английские романы, – и живым, народным английским языком, как говорят в Одессе, «две большие разницы». К тому же выясняется, что делегаты были избраны по одному от всех угольных районов Англии и диалекты их разнятся между собой значительно больше, чем, например, наш вологодский акцент от, скажем, конотопского.

Вот подходит к нашей группе седой старик, мило мне улыбается и произносит длинную фразу. По тону слышно, что он меня как-то приветствует, но я, ей-богу же, ничего не понимаю.

- Это наш председатель, мистер Лэтэм.
- Из какого района? – решаюсь спросить я.
- Из Ланкашира.
- А вы, миссис Честер?

¹ Все фамилии – подлинные.

– Из Ноттингэма.

– Вы не знаете, кто именно будет произносить речи на митинге, куда мы сейчас поедem?

– Я и мистер Джонс.

Вот почему Игельстром оставила меня с этими двумя. Она, вероятно, подумала, что мне лучше заблаговременно ознакомиться с их разговором. Ну, не дай бог, мне дали бы попервоначалу переводить этого самого Лэтэма. При одной мысли об этом у меня холодеют ноги и сердце часто-часто бьется.

– Миссис Честер, не можете ли вы мне сказать вкратце, о чем именно вы будете сегодня говорить? Вы сами понимаете – я сегодня первый раз буду вас переводить, может быть, кое-чего не пойму.

– Oh, well, я вам скажу.

В трех словах она передает мне содержание речи. Тот же вопрос я задаю и Джонсу.

Игельстром зовет меня к себе. Подводит к женской группе и особенно любезно подталкивает к высокой англичанке с рыжими волосами.

– Это миссис Кук.

Кто в то время в Москве, да и во всем СССР, не слыхал о Куке? Советские газеты были в 1926 году полны сообщениями о «великой стачке английских горняков», которая длилась, кажется, около девяти месяцев и кончилась вничью, несмотря на 12 миллионов золотых рублей, вырванных из

рта у голодающих русских рабочих и крестьян и переведенных Великобританской федерации горняков в Лондон. Артур Джордж Кук был героем дня, он был генеральным секретарем федерации и главным вдохновителем и руководителем забастовки. Его жена приехала с делегацией, и это с ней меня теперь познакомили. Нужно заметить, что она не оказалась достойной своего мужа. Очень застенчивая и недалекая, не умевшая и двух слов связать, она старалась держаться совершенно в стороне. На многочисленных митингах в Донбассе, Грозном и в Баку большевики всегда старались козырять ею, как некоей сенсацией, перед собравшимися русскими шахтерами и нефтяниками. Результат получался неизменно самый плачевный. Миссис Кук отмахивалась руками и ногами, краснела, бледнела, забивалась в самые задние ряды, а когда ее почти насильно выталкивали вперед, она слабым, еле слышным голосом произносила всегда одну и ту же фразу:

– Приветствую вас от имени английских горняков и благодарю вас за вашу помощь.

Большого от нее за сорок дней путешествия по широким российским просторам никто добиться не смог.

Игельстром отозвала меня на минутку.

– Вы когда-нибудь уже переводили?

– Никогда. И боюсь, что не сумею.

– Ну вот, глупости. Возьмете карандаш и блокнот. Старайтесь записывать возможно более подробно, что будет говорить делегат. Затем переводите, главным образом громко,

чтобы было слышно в самых отдаленных углях.

– А вдруг я чего-нибудь не пойму?

– Добавьте от себя. Не так страшно.

Софья Петровна захлопала в ладоши, точно классная дама в институте, и стала просить делегатов поскорее одеваться, так как рабочие на АМО уже ждут. Все засуетились. Сошли вниз. Перед подъездом уже стояла вереница автомобилей. Если в 1937 году в Москве становятся в очередь перед стоянкой такси, чтобы получить автомобиль, то в 1926 году автомобиль, даже в Москве, был еще большой редкостью. Кроме крупных советских сановников в автомобилях почти никто не ездил. Но для делегатов машины были всегда готовы. И напрасно. Как-то в Юзовке нам подали несколько экипажей, запряженных добрыми донскими конями. Надо было видеть восторг наших англичан. Оказывается, в Англии на лошадях уже почти никто не ездит и большевики доставили бы им гораздо больше удовольствия, предоставив к их услугам конный способ передвижения. Но в СССР, наоборот, автомобиль считался, да и до сих пор считается, верхом шика.

На заводе АМО

Огромный заводской двор, со всех четырех сторон окруженный корпусами, весь запружен шумящей разноголосой толпой. Обеденный перерыв использован для митинга, на котором должны выступать делегаты английских горняков. Около выхода из управленческого отдела сооружена высокая деревянная эстрада. Представители заводского комитета и директор завода встречают делегацию у подъезда завода и провожают прямо во двор.

Игельстром отзывает меня в сторону.

– Вы знаете, наши товарищи иногда выражаются не очень политически четко, так вы при переводе... округляйте литературно...

Начинается митинг. На платформу взбирается председатель завкома, средних лет рабочий. Он сильно волнуется – как же не волноваться, перед иностранцами придется выступать. Англичане группируются около Игельстром и меня, ждут перевода. По мере того как он говорит, мы переводим, так что для англичан пропадают и его крикливые, почти истерические выкрики: «Товарищи, наши английские товарищи, угнетаемые капиталистами, стонут в великой борьбе. Товарищи, кровожадные акулы буржуазии морят голодом их детей, а когда они протестуют, гноят их по тюрьмам». Я стараюсь переводить точно, в своей неопытности полагая, что,

может быть, оратор скажет что-нибудь значительное, чего нельзя пропустить. Первое время мне очень трудно, так как я еще не совсем «подкована» в трафаретных марксистских и «классовых» выражениях, но англичане, по-видимому, понимают, во всяком случае, сочувственно кивают головами.

– Товарищи! Да здравствуют наши бастующие братья! Да здравствует международная революция! Да здравствует единство рабочего класса!

Бурные аплодисменты.

– Товарищи! Слово предоставляется английскому горняку Джонсу.

Игельстром подталкивает моего англичанина, сует мне в руку блокнот и карандаш. Боже, как страшно!

– Comrades, I greet you in the name of the British mineworkers...²

Я начинаю судорожно записывать. Мой оратор говорит страшно быстро, пересыпает, как и все англичане, остротами, меткими словечками, пословицами. Мелькают какие-то совершенно мне незнакомые слова. «Что же я буду делать? Как же я все это переведу. Кое-что улавливаю, но далеко, ах далеко не все. Откуда мне знать, например, что ТЮК (TUC) – это Trade Union Council³, ЭМЭФДЖИБИ (MFGB) – Miners Federation of Great Britain⁴, а ЭЙ ДЖЭЙ (A. G.) –

² Товарищи, приветствую вас от имени английских горняков.

³ Совет профессиональных союзов.

⁴ Федерация горняков Великобритании.

Arthur George, как запросто называют горняки своего секретаря? Сердце мое проваливается куда-то в тартарары, руки и ноги холодеют. Как-то я выберусь из этого ужасного положения?»

Новые аплодисменты. Англичанин сходит с платформы довольный и улыбающийся. Моя очередь. Игельстром подталкивает меня сзади:

– Солоневич, переводить!

И вот я на эстраде. Подо мной море голов, воцаряется тишина. Начинаю говорить, все время заглядывая в тетрадку. Говорю громко, от волнения почти кричу. В отчаянии дополняю непонятное импровизацией. Напрягаю все свои силы, чтобы вспомнить, что Джонс говорил мне в автомобиле по дороге на завод. Стараюсь не смотреть вниз, в эти бледные рабочие лица, в эти жадные испытующие глаза.

– А не врет ли переводчица?

И правда, они видят перед собой почти впервые настоящих живых английских рабочих. Так ли они себе их представляли? И рабочие ли это? Не обманывает ли их советская власть? Делегаты все одеты в свои лучшие праздничные пиджачные пары, все при воротничках и при галстуках. На головах у них мягкие шляпы, а не традиционная советская кепка. Лица у них розовые и ничуть не изможденные, наоборот, приветливые и довольные.

Хорошо, что Джонс не преувеличивает, его рассказ не ярко политичен, а, наоборот, почти добродушен.

Кончаю. Снова аплодисменты. Схожу с лестницы. Мне навстречу поднимается миссис Честер. В своем волнении я совсем забыла, что мне придется и ее переводить. Опять начинаю лихорадочно записывать. Тут уже дело идет легче. Женщин вообще легче переводить. У них не так сложно построение фраз, они не так глотают окончания. Само содержание речей у женщин проще и легче поддается переводу.

Миссис Нелли Честер добрая и честная женщина. Она рассказывает простым и образным языком, как тяжело жилось английскому горняку до забастовки, как шахтовладельцы собирают все сливки с дохода шахт и, кроме того, получают огромные проценты за так называемые «royalties» (откуда мне было знать, что такое «royalties»? Позже мне объяснили, что это право на недра). Нелли трогательно благодарила русских рабочих за то, что они так бескорыстно помогают своим английским братьям, и просила продолжать эту помощь до конца забастовки, до победного конца.

– I thank you⁵.

Нелли я перевела гораздо лучше, чем Джонса, так как лучше ее поняла. Рабочие аплодировали и шумели. Председатель завкома снова взошел на платформу и зачитал резолюцию:

⁵ Благодарю вас. (Характерно, что английские ораторы по окончании своей речи всегда благодарят аудиторию за то, что она их выслушала.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.